

## ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

### НЕДОПИСАННЫЕ РАССКАЗЫ

Сообщение и публикация Ю. Г. Оксмана

Материалы литературного архива В. М. Гаршина до сих пор не вошли еще ни в широкий читательский, ни в специальный научно-исследовательский оборот. Под спудом продолжают оставаться и рукописные редакции его рассказов, которые содержат существенные разночтения по сравнению с их печатными текстами, извращенными цензурой, и записные книжки, без которых невозможно уяснение творческой истории важнейших из его созданий, и многочисленные черновые заготовки к задуманным вещам, и наконец, даже несколько недописанных повестей и сказок, заметно расширяющих узкий круг его доселе известных художественных замыслов и начинаний<sup>1</sup>.

Скучность прижизненных публикаций Гаршина необычайно повышает историко-литературную и биографическую значимость каждого нового творческого документа, связанного с его именем. Писал он мало, медленно и трудно; по многу лет вынашивал свои планы, десятки раз выправляя каждую новую строку.

«Ты знаешь, что я писал, и можешь иметь понятие, как доставалось мне это писание, — отмечал Гаршин в письме от 31 декабря 1881 г. к В. Н. Афанасьеву. — Хорошо или плохо выходило написанное, это вопрос посторонний; но что я писал в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови, то это, право, не будет преувеличением»<sup>2</sup>.

Темпы работы Гаршина замедлялись и осложнялись, однако, не только болезненным состоянием его психики. Исторически рассматривая и политически осмысляя художественную проблематику рассказов и сказок Гаршина, мы должны постоянно учитывать искусственное сужение путей молодого писателя цензурно-полицейскими рамками, постоянные опасения его выйти из границ «дозволенного к печати».

«Работа понемножку подвигается вперед, — писал Гаршин 25 апреля 1879 г. А. Я. Герду. — Двигалась бы, конечно, и не понемногу, если бы, работая, приходилось думать о том, что писать, а не о том, чего не писать. Иногда просто в мрачность приходишь при мысли: что если так придется всю жизнь?»<sup>3</sup>

О том, что жалобы эти были не случайны, а опасения оказались совершенно основательными свидетельствуют и трудности проведения в печать рассказа «Attalea grisea», и отказ от работы над повестью об ушедшей «в народ» учительнице Раисе Радонежской<sup>4</sup>, и неоконченная повесть о петербургском банкире Брухе, и цензурные искажения в «Сказании о гордом Аггее», и многочисленные купюры в массовых изданиях «Четырех дней» и «Медведей». Очень характерно в этом отношении и одно из самых горьких признаний Гаршина по поводу особенностей всего того, что удалось ему провести в печать, сделанное в письме к матери от 28 января 1884 г.: «Начал я было писать (повесть о Радонежской — Ю. О.), да пришлось оставить: работы довольно много, и, кроме того, встречаются препятствия иного характера. О чем ни возьмись писать — везде наткнешься на стенку, за которую переходить нельзя. Пока

не пишу: все жду, не придет ли в голову *исключительный* сюжет (вроде всего, что я до сих пор писал) такой, где цензурные условия будут непричем»<sup>5</sup>.

Об эту «стенку, за которую переходить нельзя», разбилась, как полагаем мы, и творческая инициатива Гаршина в его попытках реализации пяти рассказов, наброски которых впервые предлагаются ныне вниманию читателей<sup>6</sup>.

Тексты набросков Гаршина (автографы хранятся в Институте русской литературы Академии наук СССР) даем в их последних редакциях, опускаем все черновые варианты. Из зачеркнутых слов и строк сохраняются нами (в квадратных скобках) только те, которые не заменены другими или сколько-нибудь существенны в тематическом отношении.

## 1

Самый ранний из печатаемых нами рассказов относится, вероятно, к 1878 г. По крайней мере начало его сохранилось в тетради с черновыми записями Гаршина именно этой поры, а Н. М. Минский, вспоминая о своем знакомстве с автором «Красного цветка», относил «к первым годам» его литературной работы и неосуществленный якобы план сказки о фиалке.

«Сказка эта, — свидетельствует Минский, — была о том, как однажды Екатерина, гуляя по Летнему саду раннею весною, увидела в траве нераспустившуюся фиалку и, не желая сорвать ее и боясь забыть, где она растет, попросила поставить на том месте на несколько времени часового. Вскоре императрица забыла про фиалку, а начальство сада, не зная, в чем дело, распорядилось сменить часового другим, другого — третьим, и так далее, так что в течение ста лет ходили часовые по пустой дорожке, охраняя, сами не зная что. Гаршин хотел изобразить зимнюю ночь и выгогу и мерянущего часового, который утешает себя мыслью, что он исполняет свой долг и что-то сторожит. А нерасцветшая фиалка между тем давно ушла не только из-под ног часового, но даже из Летнего сада. Толкая под землю росток за ростком (Гаршин уверял, что фиалки именно таким образом размножаются), она выбралась на набережную, прошла под ложем Невы и после ста лет очутилась далеко-далеко за городом. Глядя на наших интеллигентных вождей, ничему не научившихся и ничего не забывших, мне хочется крикнуть им: «Цветок, который вы когда-то охраняли, давно ушел от вас, и чтобы найти его, нам надо самим сдвинуться с места и пойти вперед»<sup>7</sup>.

Работа над сказкой, о которой Минский мог впервые слышать от Гаршина в 1878 — 1879 гг., была, вероятно, возобновлена в 1882 г., когда после двухлетней болезни он особенно интенсивно занят был реализацией своих старых беллетристических начинаний. Так, со сказкой о фиалке связываем мы данные одной строки из письма Гаршина от 23 июля 1882 г. к Н. М. Золотиловой: «Думаю к сентябрьской или октябрьской кн. «Отечественных» записок непременно написать или об Венедикте (что я тебе рассказывал), или из войны, или сказку новую (давно уже у меня в голове вертится)»<sup>8</sup>. С этой же порой уже оковчательно определившегося для Гаршина разочарования народнической идеологией легче всего ассоциировать и ту расшифровку политического смысла написанной в манере исторического повествования Андерсена сказки, которую вложил в уста ее автора Минский \*

\* Текст начала сказки, самим Гаршиным никак не озаглавленной, находится (кончая словами «во всей своей скромной красоте») в особой черновой тетради писателя, датированной 1878 г. (ИРЛИ, ф. 70, № 9). Рукопись эта представляет собою перебеленную редакцию (с поправками в самом процессе переписки) несохранившегося черновика. Продолжение рассказа (от «приветливо» до «Русской старине») дается по белой черновой записи на двух листках плотной почтовой бумаги малого формата, исписанных с обеих сторон (там же, № 49). Начало этой записи, частично соответствовавшее началу сказки в тетради 1878 г., утрачено, ввиду чего в нашем тексте получился пробел (судя по тому, что утрачен только один листок, причем самое начало его известно, — не достает лишь 10—15 строк). Последняя часть недописанной сказки (от слов «Прошли года» до «кожаный тюфяк») печатается нами по исчерканному, почти не поддающемуся разбору черновику, набросанному на восьмушке листа тонкой белой бумаги, исписанному с обеих сторон — частью карандашом, частью чернилами (там же).

## (ФИАЛКА)

### I

В тысяча семьсот котором-то году — а котором именно, знают господа историки, — в весенний день, когда снег только что стаял и Нева только что прошла, в Летнем саду расцвел маленький цветочек. Летний сад тогда был не таким, как в наши дни, когда ему под двести лет; шестидесятилетние липы были уже очень велики, но еще не изрыты выгнившими дуллами и не носили на себе безобразных заплата из мертвой коры, прибитой железными гвоздями к живому дереву. Не было в саду и мраморных статуй, и криволицы и довольно благообразные Венеры Ливийские, Навигации, Анахарсис и Сатурны с целыми и приклеенными носами тогда белелись еще в густых садах польского магната, не завоеванные победоносными российскими войсками<sup>9</sup>. Не было также в Летнем саду продажи питей распивочно, павильонов с «косморамми», будочки для взвешивания и измерения публички и безобразного балагана для машин электрического освещения. И от всех этих причин в то утро, когда расцвел упомянутый цветочек, в Летнем саду было очень хорошо, чисто и весело. Липы только что начали распускать почки, а цветочек уже развернулся во всей своей скромной красоте.

\*

приветливо кланаясь на низкие поклоны редко попадававшихся навстречу гуляющих. Спутники держали себя почтительно, но непринужденно. Вообще все было хорошо. Екатерина («потому что это была она», как говорится в старых романах) в тот день особенно весела. Все удалось ей в это утро: и Вольтер написал милое письмо\*\*, и Кучук-Кайнарджийский мир заключился, и Григорий Александрович был весел, и «О время!»\*\*\* она написала, и Пугачева изловила в клетку, и «Наказ» сочинила. Положим, что это пахнет анахронизмом, но у самого Вальтер Скотта Арденский вепрь сокрушает черепа своих неприятелей через много лет после своей собственной смерти; а мне-то уж бог простит.

Итак, Екатерина, сочинившая «Наказ» и «О время!», изловившая Пугача и пр., была довольна и счастлива, а следовательно, расположена к нежным впечатлениям. И как нарочно, в ту самую минуту, когда она говорила нарядному барину фразу, от которой у него от радости взвыграла вся внутренность, ее взор встретил распустившийся голубенький венчик.

— Ach! Veilchen? — подумала она. И радостно воскликнула:

— Ах, фиалочка! Первая, первая!.. Но она не совсем распустилась, — грустно и нежно добавила она, наклонясь над цветком и сколь возможно грациозно придерживая платье, чтобы не замочить его обильной росой. — Я не могу сорвать его. Ах! его затопчут, сорвут! Как бы это сделать? — обратилась она к одному из своих спутников, пожилому господину.

Пожилой господин приятно осклабился; на лице его вместе с почтительностью и готовностью исполнить малейшее желанье государыни играло и едва уловимое выражение снисходительного презрения к вздорному и сентиментальному капризу женщины.

— Накрыть чем-нибудь, государыня.

— Накрыть... — Екатерина задумчиво остановила глаза на цветке. — Он задохнется, бедный. Ему будет темно.

Стоявший несколько позади молодой военный откашлялся и вытянулся. Государыня обернулась к нему.

\* Пропуск в рукописи нескольких строк, в которых дана была зарисовка выхода Екатерины II в Летний сад.

\*\* К слову письмо начата, но не окончена позднейшая приписка: в котором предпо...

\*\*\* В рукописи ошибка... «О нравы!»

— Вы хотите что-то сказать? — небрежно спросила она.

— Точно так, ваше величество, — держа руки по швам по-солдатски и покраснев, как пион, ответил молодой человек.

Он попал ко двору еще так недавно.

— О фиалке? — любясь его смущением, ласково спросила Екатерина.

— Точно так, о фиалке, ваше величество.

— Вы, суровый герой, думаете о цветке.

— Чтобы угодить вашему величеству... — начал военный и запнулся. — Часового поставить, ваше императорское величество, — с сконфуженным и веселым лицом крикнул он, собравшись с духом.

— Ах, какой вы умный! какой вы умный! Благодарю вас. Вот, Никита Иванович, — обратилась государыня к пожилому господину, — вы с вашим умом не придумали, а он придумал... Поставьте часового, завтра я приеду посмотреть на это милое произведение природы. Пойдемте, господа.

Во исполнение воли монархини часовой был поставлен. Но тут случились два обстоятельства. Во-первых, на другой день случился Кучук-Кайнарджийский мир, или что-то такое в этом роде — прошу извинить мое грубое незнание истории, — и Екатерина забыла о милом произведении природы. Во-вторых, первые три часовых еще знали о том, что они поставлены сторожить цветок, а четвертый, который был уже другого гвардейского полка, сменившего караул в столице, был уверен, что поставлен сторожить просто пустое место и, расхаживая около дорожки, растоптал произведение природы. Фиалка от этого именно не умерла: сила ее в корнях и один цветок ей ничего не значит. Целое лето она цвела и целое лето около нее стояли на часах разные рослые гвардейцы, бодро расхаживавшие десять шагов в одну и десять шагов в другую <сторону> и браво, со звоном, отдававшие честь ружьем гуляющим офицерам.

Что же касается до изобретательного молодого офицера, то дальнейшая судьба его мне не известна. Вероятно, сведения о его жизни можно найти в «Русской старине».

Прошли года. Летний сад был покрыт инеем; глубокий снег лежал под липами. По расчищенной и усыпанной песком дорожке ходил часовой; он достаивал свои часы и порядком [уходился]. Сад был пуст; было холодно да и слышком рано. Солнце только что взшло, играя красным светом на заиндеветых вершинах деревьев. Солдат снял шляпу и перекрестился.

— Скоро, скоро, скоро, скоро, — запел он, припрыгивая и приплясывая от холода и хлопая по боку свободной рукой, в которой не было ружья. Ему представилась теплая караулка, деревянные нары, запах горячих щей и теплого хлеба. Поест, согреться и уснуть; ничего не могло быть лучше этого.

Однако смена не шла. Часовой плясал бойче и бойче; мороз, хотя и не сильный в то утро, пробирал его.

— Ишь, проклятый, как за нос берет. И кого это мы тут сторожим? — задал он себе вопрос. — Больше ничего, что пустое место. — Он огляделся; кругом был белый, горящий золотом на ярком зимнем солнце снег, уже потерявший свой красный оттенок. Он не знал, что в двух шагах от дорожки, на которой он топтался и плясал, под аршинным снегом расстилаются замерзшие побеги фиалки, а в земле <1 нрзб.> и живые корешки той же фиалки, которая росла на этом месте 30 лет назад и что эти-то корешки он и должен был сторожить.

Показалась кучка солдат; часовой вытянулся; через минуту он шептал на ухо сменявшему его товарищу таинственные слова: «не спать, не дре-

Танюша. Танюша год длинною сап бред истре  
 съестной истре; ну и убои съел истре  
 над истре. Аще и истре и устре  
 истре истре истре истре истре;  
 истре истре истре истре истре  
 истре. Съесть истре истре истре истре  
 истре. Съесть истре истре истре истре  
 истре. Съесть истре истре истре истре  
 истре. Съесть истре истре истре истре

— Сирь, сирь, сирь, сирь, истре истре  
 истре и истре истре истре и истре и  
 истре истре истре истре, истре истре  
 истре истре истре истре истре истре  
 истре истре, истре истре истре истре  
 истре истре, <sup>истре истре и истре</sup>  
 истре истре, истре истре истре истре

— Истре истре, истре истре истре истре.  
 истре истре истре истре истре истре  
 истре истре истре истре истре истре  
 истре истре истре истре истре истре  
 истре истре, истре истре истре истре  
 истре истре, истре истре истре истре  
 истре истре, истре истре истре истре  
 истре истре, истре истре истре истре

## «ФИАЛКА»

Автограф В. М. Гаршина, &lt;1878&gt;.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

мать, господам офицерам честь отдавать и прочее...» Когда он снимал с себя шубу и передавал ее новому часовому, один из солдат сказал ему:

— Савельев, бают, плохо дело, государыня померла. — На Савельева эта новость не произвела особенного впечатления. Он больше всего думал об теплой караулке и бодро зашагал рядом с капралом. Новый часовой остался охранять неведомую ему самому фиалку.

Екатерина действительно кончалась. Ее нашли пораженной ударом в гардеробе, вынесли оттуда и уложили на разостланный на полу кожаный тюфяк.

Наброски рассказа «Скипидар» (заголовок этот в рукописи зачеркнут, но другим не заменен) предположительно датируются нами 1879 г. Никаких упоминаний об этом произведении ни в переписке Гаршина, ни в воспоминаниях о нем не сохранилось. Фабула рассказа расшифровке не поддается, но центральные персонажи его наметились уже очень четко и даже остро. Беглое упоминание об интендантских процессах позволяет точно определить и время действия — 1878—1879 гг. \*

### [СКИПИДАР]

Я только что возвратилась с одного из моих уроков, измученная жарой и задохнувшаяся от пыли, как мимо окна моей комнаты прошла какая-то незнакомая фигурка.

— M-me Zoubinine, peut-on entrer? \*\* — раздался робкий голос.

Я, собственно говоря, не M-me Zoubinine, а просто Зубынина. Несомненно, пришла какая-то француженка. Я отворила дверь. Передо мной стояла седая дряхлая маленькая старушка, очень бедно одетая. На ней было ветхое, ветхое черное шелковое платье, все посекшееся, суконная тальма, бывшая когда-то черною, но теперь совершенно рыжая, особенно на плечах и на спине старушки, покривившейся от старости. Черная шляпка, служившая вероятно уже многие годы, обратилась в безобразный комок. Комок этот был привязан когда-то лиловыми лентами к маленькому морщинистому лицу. Одно это лицо внушало уже сострадание; лицо было так печально и худо, так жалобно смотрели маленькие красные глаза и красный носик и дрожащий подбородок. Она не была похожа на француженку, но говорила очень беглым французским языком, очень тихим и нежным голосом.

— Я прошу извинения у вас, M-me, вы меня не знаете, но мое положение ужасно, ужасно... — говорила она, сняв свой комочек, и усевшись против меня, робко и жалобно смотря на меня своими печальными глазами.

— Это вышло совершенно случайно... Я шла по улице и села немного отдохнуть на скамейку у ворот. Молоденькая девушка остановилась против меня и спросила: что я тут делаю. Я сказала, что ищу работы... Целый день, и я так устала... Ее зовут M-me Штейн, она ваша ученица. Она посоветовала мне обратиться к вам. Она сказала, что вы так добры — у вас есть много знакомств... Если можно... Я прошу у вас извинения, но вы видите, в каком я положении...

При этом она заплакала.

— Вы француженка?

— О, нет, — заговорила она по-русски, — я русская, Иванова. Я воспитывалась в институте... очень давно.

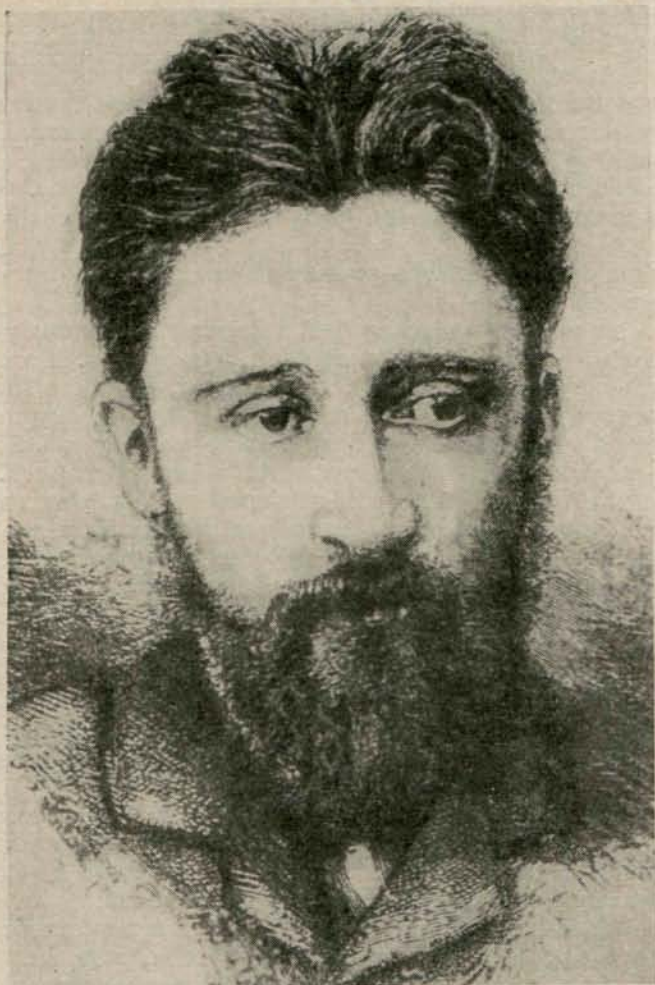
Конечно давно, потому что ей было по крайней мере шестьдесят лет.

— Я сирота... Я всю жизнь жила гувернанткой, потом компаньонкой. Я двадцать лет жила компаньонкой и, конечно, забыла все, кроме французского языка. И теперь учить — это так трудно.. Новые методы, я ничего не умею... И не знаю, можете ли вы меня рекомендовать. Я не знаю

\* Текст «Скипидара» представляет собою беглую черновую запись чернилами и, частью, карандашом на полулисте серой канцелярской бумаги, предварительно перегнутом пополам (ИРЛИ, ф. 70, № 51). Продолжение его с середины слова «содержательница» в записной тетради Гаршина, датированной с 16 октября 1878 г. по 1883 г. (там же, № 10, л. 63—64). Связь этого фрагмента с наброском «Скипидар» была установлена М. Д. Гургуловой (см.: «Годишник на Софийския университет...», с. 255).

\*\* Мадам Зубынина, можно войти? (*франц.*)





В. М. ГАРШИН

Автопортрет (перо), конец 1870-х годов

Центральный архив литературы и искусства СССР, Москва

ничего, кроме французского языка и немножко музыки... Теперь везде Евтушевский... и новые методы, а я ничего не знаю. Прежде было довольно немного французского языка и музыки и я могла иметь свой кусок хлеба, но теперь везде эти новые методы... Нас не учили...

— У вас здесь нет ни родных, ни знакомых?

— Никого. Я приехала сюда два года назад с одним семейством. Отец служил в военной службе и потом, когда началась война, он поступил как это, *vous savez...* интендантом. Вы знаете у этих интендантов такие прекрасные доходы. *Et puis...* его отдали под суд. Я потеряла место и должна была поступить к моим настоящим патронам...

Она замолчала. А. П. извинилась и вышла, чтобы приготовить для гостей кофе.

— Если бы вы знали, если бы вы знали, какие это ужасные люди и каково было жить у них мне, которая жила столько времени в лучших домах. Я не говорю об этом интенданте, но моя бедная покровительница, у которой я жила двадцать лет... О, она видит с неба мои страдания! Вы знаете,

М-me Zoubinine, я чуть не умерла с горя, когда это случилось. Это был такой неожиданный, ужасный, ужасный удар. Ах, зачем, зачем она скончалась, — патетически сказала старушка и, сложив руки, подняла глаза к небу. — Она могла жить еще так долго... Она была не так стара, чтобы ей нужно умереть и оставить страдать своего бедного несчастного друга...

— Сколько же ей было лет?

— О, не более семидесяти... Потом эти наследники... О mon Dieu, эти воспоминания... Я была выброшена на улицу и с тех пор — vous voyez...

Она вынула из старенького ридикюля скомканный носовой платок и привела его в действие.

— Теперь я получаю восемь рублей в месяц и ... должна учить двух детей. Это ужасные дети... они дразнят меня, издеваются. И это все было бы ничего (нужда научает смирению), но он, отец, — просто невыносим. Он не довольствуется тем, что я учу его детей, я нужна ему как прислуга. Третьего дня он послал меня на базар. Я не могу, у меня болят ноги... Но я все-таки пошла... Вчера я отказалась быть кухаркой. Я не могу, я не привыкла. И потом у них такой ужасный воздух. Полгода тому назад у детей был дифтерит, и с тех пор отец каждый день обрызгивает комнаты, как бы вы думали — чем? Скипидаром!! Он называет это дезинфекцией, а я задыхаюсь от этой дезинфекции и должна прятать свой плащ и шляпу в чулан, потому что иначе нельзя выйти на улицу, — когда я прохожу мимо, то все чуть не зажимают нос. Я прошу вас, М-me Zoubinine, если можно, если вы только найдете возможность...

Горничная Настя принесла кофе, и старушка дрожащими руками взяла чашку, отломил кусок булки и принялась пить и есть с жадностью, но сохраняя необыкновенно деликатную изящность в движении рук и губ. Так умеют пить и есть только институтки.

Анна П. сама испытала на своем веку довольно нужды, пока ей не удалось попасть на место учительницы гимназии. Притом она была добрая девушка и положение старушки ее тронуло. Ей пришла в голову мысль и она тотчас же попробовала привести ее в исполнение:

— М-ше Иванова, будьте добры, посидите у меня четверть часа; я попробую сделать для вас, что могу, — сказала она, вставая.

— О, как я благодарна вам за ваше участие, вы спасаете меня. Господь наградит вас.

— Я сейчас вернусь. — Она надела шляпу и направилась к своей соседке Шагуновой, содержательнице бакалейной лавочки. Три деревянные ступеньки вели вниз в полутемное помещение, наполненное мешками, ящиками, бочонками, банками со всевозможным товаром, начиная от иголок, и ниток, и табаку, мыла, до дешевых конфет, колбасы и сушеной рыбы, висевшей гирляндой около единственного окна лавочки. За грязным прилавком, украшенным огромными медными весами, сложив руки на животе, сидела владелица торгового заведения сама госпожа Хапалова, женщина величественных размеров с остатками некоторой красоты на заплывшем жиром лице, облеченная в пространный ситцевый капот. Она была мать многочисленного семейства, оставшегося ей от двух мужей и, несмотря на свое кровное дворянское происхождение, не брезгала с утра до вечера сидеть в своей лавочке, кричать на своих детей, отвешивать пачку и мыло, ругать неисправную молочницу, поставившую в лавочку молоко, и неисправных должников и с удивительным искусством распространять самые невозможные сплетни. У нее была целая дюжина детей всевозможных возрастов, от 25 до [4] лет. Больше всего она гордилась старшей дочерью, хорошенькою и <1 нрзб.> полковою дамою 243 пехотного полка, супругою поручика, квартирмистра этого полка, и гордость эта появилась с тех пор, как молодой, но опытный квартирмистр начал при-



сылать жене «из-за Дуная» кожаные мешочки с новенькими золотыми чеканки 1877 г. Два из них украшали уши хозяйки лавочки <и> при каждом движении головы шлепали ее по жирной шее. Впрочем, она двигалась не очень много.

Катя, Соня, Лиза, ее дочери, были ученицами А. П. и довольно плохими ученицами, так как почти все время вне гимназии они проводили в лавочке, занимаясь торговлей под непосредственным руководством своей маменьки. На этот раз, кроме г-жи Хапаловой, в лавке никого не было. Когда А. П. вошла, г. Хапалова приветствовала ее безмолвным наклоном головы, причем очень ярко сверкнул один из полумпериалов.

— Здравствуйте, Нимфодора Ивановна.

— Как поживаете, Анна Петровна, — ответила лавочница, перебирая большими пальцами рук, покоившихся на ее обширном животе.

— Благодарю вас. Я к вам по делу.

— Что угодно, [Анна] Петровна.

— Вы давно, кажется, хотели доставить вашим детям практику во французском языке.

— Хотела, Анна Петровна, да где ж ее взять.

— Я вам рекомендую гувернантку, если хотите.

— Отчего ж, можно. Нам бы подешевле.

— Она с удовольствием пойдет за пятнадцать рублей в месяц.

— Может быть и двенадцать?

— Нет, меньше пятнадцати <1 нрзб.>.

Тогда Нимфодора Ивановна начала вздыхать, жаловаться на плохую торговлю и даже на золотую пошлину. Кстати упомянула о том, кто из соседей не платит ей долгов по лавочке, и в конце концов изъясвила сожаление, что Бенден, зять, поручик, поторопился разменять свое золото на бумажки, так как теперь золото гораздо дороже.

— Говорила, подожди, не меняй, так нет же. Война, говорит, маменька, кончилась, теперь самое выгодное продать. Вот и продал. Несколько сот стало это удовольствие. Убытки, право, со всех сторон.

Все это вело к тому, что Нимфодора Ивановна никак не может дать пятнадцати, а только двенадцать рублей. Но так как А. П. была человек опытный и неуступчивый, то поладили на четырнадцать с полтиной.

— Кто же она такая? — спрашивала Н. И. по окончании торга.

— Старушка, Иванова, кончила курс в Институте.

— Да, может, она манерная какая, господь с ней.

### 3

Рассказ «Сон Павла Павловича», обогащающий небольшую галерею гаршинских образов эпохи грюндерства конца 70-х годов такими яркими персонажами, как петербургский банкир и железнодорожный делец Брух и состоящие в его свите дворянские последыши Павел Павлович Муратов и остзейский барон Ферншталь, мы относим ко времени между 1883 и 1885 гг. Именно в эту пору Гаршин по самому роду своей службы в секретариате Общего съезда представителей русских железных дорог непосредственно связан был с миром Брухов, Муратовых и Ферншталей, и хотя оставался на этой работе и позже, но после некоторых страниц «Надежды Николаевны» к сатирической зарисовке персонажей современного ему буржуазного быта уже, как известно, не обращался. Возможно, что именно «Сон Павла Павловича» Гаршин имел в виду, когда писал 26 февраля 1884 г. матери:

«Получил от Мих. Евгр. <Салтыкова.— Ю. О.> записку, которая меня привела в затруднение и огорчение: просит дать что-нибудь к 8 марта. А у меня ничего нет. Хочется, очень хочется исполнить его желание, да не знаю выйдет ли что-нибудь. Начал рассказ, но он совсем не пишется»<sup>10</sup>.

Судя по тому, что картина Яна Матейки «Битва при Грюнвальде» впервые выставлена была в Петербурге весной 1879 г., — к этому же времени приурочено было Гаршиным и развертывание фабулы его неоконченного рассказа.

Никаких более конкретных данных об этом творческом начинании ни в переписке Гаршина, ни в мемуарных материалах о нем не сохранилось\*.

### СОН ПАВЛА ПАВЛОВИЧА

Перед огромной пятисаженной картиной Матейки «Битва под Грюнвальдом» стояла толпа хорошо одетых дам и господ и смотрела на статных смелых рыцарей, на их бешеных и прекрасных, летящих и валящихся коней, на развевающиеся знамена и блестящее оружие и великолепные одежды. И очень странно сравнить этих закованных в сталь и покрытых пестрыми шелковыми тряпками витязей с суровыми лицами и железными мускулами, с приличною и чинною толпою сидящих против, оставив на них бинокли. В толпе, позади трех прекрасных барышень-сестриц, сидящих на буковых стульях, стоит Павел Павлович и шепчет, наклоняясь, то одной, то другой из них, свои веские замечания относительно достоинств и недостатков знаменитой картины.

Павел Павлович [Сивцев] очень приличный молодой человек, такой приличный, что подобного ему по приличию он сам не встречал во всю свою жизнь. В будни с раннего утра он всегда облечен в превосходнейший сюртук, называемый съютом и сшитый из какой-то удивительнейшей английской материи рубчиками и полосками, необыкновенные брюки, величественно избегающие на лакированные сапожки, и туго накрахмаленную белоснежную рубашку с вырезом на горле и широко торчащими в стороны концами воротника, завязанными черным атласным галстуком. На этом галстуке вышиты красные атласные петушки, в него воткнута булавка, настоящая золотая и с настоящим изумрудом, изображающим неизвестного вида жука с золотыми лапами, упирающимися в нежный атлас. Когда П. П. расстегивает свой съют, чтобы посмотреть время, то на превосходном жилете является толстая, важно висящая золотая цепь. Павел Павлович очень доволен своею цепью. В тот день, когда он купил ее, через три месяца после поступления на место к господину Бруху, только приличие не позволяло ему ежеминутно смотреть который час. Зато ложась спать в своей маленькой комнате на антресоли в доме важного плутократа, он долго любовался ею и даже ночью, проснувшись, ощущивал рукою лежавшее на столике сокровище.

Он был одним из домашних секретарей великого человека. Занятия П. П. в доме Б. состояли исключительно в переписке разнообразнейшей корреспонденции, ежедневно рассылавшейся во все концы Европы; прекрасный почерк и некоторое знание французского, немецкого и английского языков и необыкновенная приличность делали его вполне достойным этой важной обязанности. Скромное, но [достаточное] жалованье вполне удовлетворяло его нужды. Они состояли между прочим, во-первых, в поддержании съюта и прочего в должном состоянии; во-вторых, в поддержании самого П. П. на высоте современного образования, что Павел П. считал необходимым, чтобы не сидеть закрыв рот в дамском обществе, которое

\* Рукопись «Сон Павла Павловича» представляет собою исчерканный черновик, набросанный на трех четвертушках простой канцелярской бумаги, исписанных с обеих сторон (ИРЛИ, ф. 70, № 48). При установлении последовательности набросков мы учли позднейшие отметки Гаршина о перестановке частей рассказа, первая редакция которого начиналась словами: «Павел Павлович очень приличный молодой человек». Нынешнее же начало рассказа в рукописи находилось между строками «свой драгоценный съют» и «Впрочем, вообще и Брух и П. П. были прекрасные люди».

он очень любил. Для этой цели он усиленно посещал театры, различные общественные торжества \*, приезжие музеи и редкости, концерты музыкальных знаменитостей, наконец, он никогда не пропускал ни одной выставки художественных произведений, в которых знал также толк.

— Да, рисунок недурен, но писано плохо, — говорил он, глядя на какую-нибудь знаменитую картину сквозь золотое пенсне. — Или: да, линейная перспектива соблюдена, но воздушной положительно нет. — Или просто заявлял: совершенное отсутствие лепки и крайне жареный колорит. Или еще проще: лизано. — Если было «лизано», то уж художника можно было считать совершенно погибшим в глазах П. П.

Не удивительно, что знакомые П. П., а особенно барышни, очень любили прогуливаться с ним по выставкам. А однажды даже сам Брух не без удовольствия прошелся с ним по залам Академии художеств и по его скромному совету купил четыре огромные холста, хотя и презирал русское искусство, так как считал себя европейцем.

Европеец родился в Шклове. Это был один из тех сильных характеров, направивших все свои способности и нечеловеческую энергию к одной цели — [зашибить деньгу], которых так много развелось в последнее время \*\*. В четырнадцать лет Брух зубрил Талмуд и голодал, претерпевая оскорбления от местных уличных мальчишек. В восемнадцать ездил с отцом по ярмаркам в огромном, заваленном товарами фургоне, запряженном двумя невозможными клячами. В двадцать он исчез неизвестно куда. Двадцати пяти лет Брух был приличным (конечно, не таким, как П. П.) молодым евреем, жил уже в Харькове и занимался различными комиссиями. В тридцать поступил в русский городской поземельный, учетный и железнодорожный банк на жалованье в две тысячи рублей. Через пятнадцать лет он был директором этого банка, владельцем огромного дома на аристократической улице, человеком с сотнями тысяч годового дохода. Во все это время с двадцати до сорока пяти лет он среди нечеловеческого напряжения способностей, хитрости и владенья собою успел прочесть массу книг, успел приобрести настоящий русский выговор, изучил практически языки. Словом, сделался образованным и блестящим негоциантом. Это был великий человек.

Великие люди, как известно, бывают разные. Большинство из них презирают людей. И Брух тоже презирал людей, потому что видел в них только ползавших под его ногами червяков, которые когда-то чуть не растерзали его.

Павел Павлович трепетал перед Брухом всеми фибрами своей души. Одна только мысль иногда наполняла его сердце гордостью: одною только чертою он, без сомнения, превосходил Бруха. Банкир был жид, П. П. русский. Банкир был мещанин (хотя теперь был уже «декорирован» и перестал быть им) — Павел Павлович был чистокровный дворянин и знал, что он, Муратов, происходит от мирзы Амурата, во святом крещении Мартына Муратова, некогда ушедшего от палок из Золотой Орды к великому князю Иоанну Васильевичу, благосклонно даровавшему ему большое поместье в нынешней [Воронежской губ.]. Конечно, Пав. Пав. никогда и никому не говорил этого, но все-таки иногда в душе своей гордился своими преимуществами. Никогда Брух не мог надеть так своего дорогого сюртука, как Пав. Павлович свой драгоценный сьют.

Впрочем, вообще и Брух и П. П. были прекрасные люди и по своему были очень счастливы. Бруху недоставало только одного — наступить на горло целому свету; Павлу П. недоставало нескольких лишних десят-

\* Слово торжества зачеркнуто в оригинале по ошибке.

\*\* В оригинале начато исправление этого места: над зачеркнутым зашибить деньгу вписано: и достигающих их; а между деньгу и которых вставлено и зачеркнуто: Прежде такие люди были в редкость.



человеком в пять шаров, он неловко махнул кйём и ударил магистра по металлическому животу, отчего раздался звонкий удар.

Точно такие, точь-в-точь, думал П. П., только короны нет на шлеме. Он вспомнил, что латы эти продал Бруху Ферншталя, барон остзейский, постоянно состоящий при Брухе в качестве чего-то среднего между приятелем и комнатной собачкой. Брух иногда кормил его, иногда бил. Конечно, не в прямом, а в переносном смысле.

— Павел Павлович, — раздался вдруг голос Ферншталя, тоже очень приличного человека. И барон протянул П. П. превосходно обтянутую руку.

— Мое почтение, барон, — ответил П. П., — как находите картину?

— Wunderbar, wunderschön, — сказал барон и сжал губы. — Знаете, П. П., вот эти латы (барон отчего-то выговаривал лати, а не латы), вы узнаете ли?

— Неужели те самые?

— О да, те самые. Мой папенька получил их от своего папеньки. Мы получили их от пе... от, как это, потомков. Они принадлежали магистру, который вот здесь на картине, видите в белом. Он подарил их жениху своей дочери барону Ферншталю, и я очень горжусь этими великими трофеями.

## 4

«Не пропусти в газетах дело Немчиновых о подлоге, — писал 11 декабря 1885 г. Гаршин В. М. Латкину, — я был на нем присяжным и ужасно взволновался, пока мы наконец не обвинили *его* и не оправдали *ее*»<sup>11</sup>.

Громкое дело разорившегося симбирского помещика Д. Т. Немчинова и его молодой жены, обвинявшихся в шантажировании корнета кавалергардского полка П. А. Родионова и в составлении от имени последнего фальшивого векселя на две тысячи рублей, слушалось в 1-м отделении С.-Петербургского окружного суда с 2 по 10 декабря 1885 г. Процесс Немчиновых произвел на Гаршина, судя по приведенному только что письму, большое впечатление. Однако еще больше, чем самым материалом «дела», писатель подавлен был организационными формами казенного правосудия, его архаически сложным аппаратом и бессмысленными обрядами. Наблюдения присяжного были уже 18 декабря 1885 г. использованы Гаршиным для натуралистически точной зарисовки всех запомнившихся ему процессуальных форм в новом рассказе, типажный материал для которого также взят был им, вероятно, из его недавней судебной практики. Но и этот рассказ, сохранившиеся части которого предвосхищали некоторые детали аналогичных сцен в «Воскресении» Льва Толстого, остался недописанным и оборвался на полуслове\*.

### 〈ОБЪЯВИТЕ СУДУ ВАШЕ ИМЯ...〉

— Объявите суду ваше имя, — порывисто спросил председатель.

Подсудимый, стоявший за длинным глухим барьером, отделявшим скамью подсудимых, не расслышал или не понял вопроса и молчал, подавшись всем телом по направлению к председателю и впившись в него испуганными глазами.

— Как вас зовут, — крикнул председатель.

— Иван Петров.

— Вы крестьянин?

\* Текст этого наброска (беглая запись, сделанная набело, но с некоторыми стилистическими поправками в самом процессе письма) занимает три страницы плотной почтовой бумаги обычного формата. В левом верхнем углу первой страницы дата: 18.XII.85. (ИРЛИ, ф. 70, № 24).



— Мещанин-с.

— Чем занимаетесь?

— Парикмахером был.

— Который вам год?

— Двадцать шестой.

— Православный?

— Точно так.

— Копию обвинительного акта получили?

— Получил-с.

— Копию со списка гг. присяжных заседателей получили?

— Получили-с, так точно.

Наступила минута молчания, потому что сторожу нужно было время принести и поставить на судейский стол ящик с билетами, на которых были написаны имена присяжных заседателей.

— Налицо всех присяжных заседателей... — быстро, как заученный урок, начал председатель...

— Двадцать имеется (?), — подхватил черноусый пристав, театральным жестом придерживая свою серебряную цепь и со всею возможною изящностью сгибая свой стан перед судом.

— Предъявите к отводу...

И не успел пристав обернуться к прокурору, сидевшему на конце красного стола, и затем к защитнику, сидевшему перед подсудимым, так что приставу нужно было обратиться в совершенно противоположные стороны, как прокурор и защитник поднялись с места и почти в один голос проговорили:

— Не имею.

— Не имею.

И, поклонившись, сели.

Все шло чрезвычайно быстро. «В состав присутствия войдут следующие господа», — продолжал председатель и, вынимая карточки, произносил имена. Вызванные господа один за другим вставали со скамей, поставленных в несколько рядов перед местами для публики, и, выходя на середину зала, становились перед решеткою, отделявшею места присяжных — двенадцать огромных мест, обитых полинявшим зеленым трипом, с массивными спинками из темного дуба. На этих местах они должны были сидеть все время, пока на их глазах разыгрывалась драма, героем которой был Иван Петров, по-прежнему стоявший, подавшись корпусом вперед и не отрывая глаз от спокойного и умного лица председателя. Он был одет в черном казенном пиджаке и гладко причесан; маленькая белокурая борода была подстрижена клином. Лицо от четырех месяцев сиденья в одиночном заключении приобрело нежность и бледно-желтоватый, прозрачный оттенок.

Выборы присяжных были произведены очень быстро, и не успел председатель повернуться в угол комнаты, где у окна стоял полный и высокий священник, и сказать: приведите присяжных к присяге, — как батюшка уже стоял сбоку аналоя, на который положил крест и Евангелие, и в противоположность всему течению дела, необыкновенно медленно, с торжественной дикцией и пафосом начал говорить слова присяги. Присяжные, подняв руку в уровень с головою, смотрели на него; некоторые шептали про себя слова присяги, другие молчали. Произнеся формулу, которую он говорил в своей жизни несколько десятков тысяч раз, священник сказал:

— Целуйте крест и Евангелие и говорите *клянусь!* — Это «клянусь!» он говорил особенно торжественно. Так, должно быть, в средние века члены *<1 нрзб.>* произносили свои страшные клятвы. Затем он так же быстро, как появился, скрылся в свой угол.

Присяжные выбрали старшину, отмеченного в списке словами «действительный статский советник», и, медленно заняв свои торжественные места, устремили глаза на подсудимого. Это были все люди серьезные, младшему было лет тридцать пять, а старший, седой, худощавый и маленький купец, должно быть, приближался к пределу, за которым уже нельзя быть присяжным. Действительный статский советник, избранный старшиною и сидевший с краю, ближе к судейскому [столу], был известным университетским профессором. Его доброе печальное лицо

## 5

Пятый из печатаемых нами набросков связан с последним большим творческим начинанием Гаршина. Работал над ним писатель, уже будучи полубольным, летом 1887 г.

«...почти кончил рассказ, который вряд ли увидит свет, — писал Гаршин об этой своей работе 15 июня В. А. Фаусеку. — Не знаю, порвать его, или отложить. Очень деликатный для меня вопрос. Дело в том, что в рассказе фигурирует фантастический элемент и, можешь себе представить, наука. А так как действующие лица могут говорить о науке, не превышая уровня понимания автора, то выходит дело очень плохо. Так как я писал для себя, то для меня оно, может быть, и интересно: почему же и мне не говорить и не думать о науке («и кошка имеет право смотреть на короля»), но что сказали бы Скабичевский и бирюлевские барышни, если бы я задумал философствовать печатно. Горька моя судьба!...»<sup>12</sup>

При первом же свидании своем с Фаусеком после возвращения последнего в сентябре 1887 г. в Петербург Гаршин полностью развернул перед приятелем фабулу своей новой вещи.

«Это была странная история, с ярким фантастическим характером, с медиумическими явлениями и пространными диалогами научного и философского характера, — вспоминает Фаусек. — Общий смысл ее был — защита ересей в науке, протест против научной нетерпимости, против исключительной ортодоксальности людей ученого мира. Действующие лица повести были ученые, старые и молодые, профессора университета и ученики их, начинающие, но гордые знанием и враждебные ко всему, что «не научно»: химики и физики. Между прочим там появлялись с своими теоретическими взглядами и действительные лица, не названные, конечно, но описанные с полным сохранением всех их индивидуальных черт, и между ними профессора Менделеев и Манасеин. Оба они были всегда предметом глубокого уважения В. М., и, лично знакомый с профессором Манасеиным, он отзывался об нем с симпатией, но, не будучинисколько ни спиритом, ни гомеопатом, не одобрял их отношения к этим «ересям». Вспомни аргументация его основывалась главным образом на истории науки, на том, сколько раз уже учения и теории, казавшиеся и всеми признаваемые за нелепость, за грубые заблуждения, за суеверия, — оказывались основанными на вполне реальных фактах и открывали для научного исследования такие области, такие явления, самое существование которых никем не подозревалось.

Главными действующими лицами рассказа были два молодых приятеля, один начинающий ученый, молодой самодовольный педант, другой — тоже натуралист по образованию, но не занимающийся специально наукой, замкнутый в себе, странный, болезненный чудак, может быть, тоже с легким «психозом» и с сильною склонностью к отвлеченному мышлению. Он вечно сидит один в своей комнате и думает, и додумался до медиумических явлений. По просьбе своего ученого друга, пораженного новыми и таинственными явлениями, он показал то, до чего он додумался, избранному обществу ученых скептиков — и поплатился, заранее это зная, за обнаружение своей «творческой силы» всей своей душевной деятельностью: после сеанса он впал в неизлечимое слабоумие. При этом в повести был описан Петербургский университет, здание физического кабинета, старинное здание, которое всегда интересовало Всеволода Михайловича.

Он передал мне весь рассказ последовательно и подробно, во многих местах, вероятно, прямо подлинными словами, как было написано, и все, что он рассказы-

вал, было очень умно и очень интересно; несмотря на отвлеченные рассуждения, самый интерес рассказа и фабулы все более и более возрастал, а фантастический элемент, полный странной, несколько болезненной поэтичности, придавал всему рассказу особенный, оригинальный оттенок. Вообще это была вещь в высшей степени оригинальная. Он написал ее в июне, кажется, всего в несколько дней, а когда заболел, то сжег рукопись, и теперь, рассказывая мне, глубоко сожалел об этом и говорил, что не сможет уж вновь написать позднее, «когда поправится»<sup>13</sup>.

К вещи, о которой с такими подробностями Гаршин рассказывал осенью 1887 г. Фаусеку, относится и найденный нами в бумагах писателя набросок, единственный документальный след его последнего большого художественного начинания\*.

Подтверждая большую точность воспоминаний Фаусека о последнем замысле Гаршина, набросок этот позволяет установить наличие в герое недописанного рассказа — Александре Ивановиче — многих характернейших черт и деталей биографии самого писателя. Формально не связанный ни с одним научным учреждением, «недоучившийся студент» Горного института и вольнослушатель С.-Петербургского университета, Гаршин с гимназических лет вращался, однако, в кругу молодых ученых (кружок А. Я. Герда), очень внимательно следил за успехами точных наук, много занимался ботаникой, зоологией, минералогией, а в пору наибольшего расцвета своей творческой работы поддерживал постоянное дружеское общение не столько с профессиональными литераторами, сколько с учеными — горняками, физиками, химиками, математиками и проч. Из подлинных служителей науки писатель очень резко выделял тех академических чиновников и «самодовольных ученых педантов», которых и должна была заклеить его последняя повесть. Признаки разложения некоторых групп петербургской интеллигенции, с которыми Гаршин ближайшим образом связан был в пору реакции 80-х годов, отмечались им еще задолго до работы над новой его вещью.

«6-го были мы вместе с Васей у Х (амонтова. — Ю. О.), — писал Гаршин 23 декабря 1883 г. В. М. Ляткину, — собралось на именины человек 15 молодых учителей, адъюнктов, лаборантов и прочей ученой братии. Нехорошее я вынес впечатление. Разговоры об единицах, решение геометрических курьезов, разговоры о трихлорметилбензолмилоидном окисле какой-то чертовщины <...> это, часть первая. Гнуснейшие в полном смысле анекдоты — соединение ужасной чепухи с беспечной и неостроумной похабщиной (какая-то турецкая или ташкентская) — это вторая. Основательная выпивка — третья. И больше ничего. Ни одного не только разумного, а хоть сколько-нибудь интересного слова. Право, какое-то одичание»<sup>14</sup>.

К впечатлениям начала 80-х годов восходили, однако, не только бытовые детали последней повести Гаршина. Самое положение молодого писателя в кругу его ученых друзей поразительно напоминало ситуацию, получившую отражение в печатаемом ниже наброске. Диалог «Александра Ивановича» с «Вагнером» кажется прямо выхваченным из известной нам переписки Гаршина. Даже такие сентенции его героя, как: «Я провожу на этой службе пять часов и не считаю себя занятым. Это полумеханическая работа. Я очень рад ей. Она нисколько не отвлекает меня... от того, что всегда составляло мою жизнь...» — лучше всего комментируются автопривзваниями писателя после поступления его на службу в секретариат Съезда представителей русских железных дорог: «На службе у нас теперь в летние месяцы положительно нечего делать: сижу, пью чай, пишу письма, рассказ и держу корректуру Гердовской зоологии. Дело по службе сделаешь по приходе в четверть часа, а остальные часа два-три совершенно свободен»<sup>15</sup>, или: «Чувствую, что ежедневное хождение в определенное место и недолгое там сидение (часа 2½—3½) приносит мне большую пользу со стороны, так сказать, психо-гигиенической»<sup>16</sup>.

\* Текст наброска (перегнутая пополам четвертушка листа плотной бумаги) отражает не первичную черновую запись, а уже как бы вторую стадию работы — переписку набело, но с довольно большим числом поправок в самом процессе переписки (ИРЛИ, ф. 70, № 35).

## 〈ДА! ТАК ВОТ КАКИЕ ДЕЛА...〉

— Да! так вот какие дела, — проговорил один из двух собеседников.

Дел, собственно говоря, никаких не было. Два приятеля молчали уже в течение по крайней мере десяти минут, и слова, которыми начинается это повествование, были сказаны только из приличия.

Один сидел на стуле, другой на низеньком широком диване, таком низеньком, что сидевшему было весьма неудобно доставать с возвышавшегося перед ним с самоваром и чайной посудой ломберного стола стакан с чаем, который он изредка и понемножку прихлебывал с видом человека, желающего хоть чем-нибудь убить время. Время же шло весьма медленно и для сидевшего на стуле. У него не было ресурса даже в прихлебывании чая: стакан был допит, это был уже третий. Сидевший на стуле, которому вовсе не хотелось четвертого стакана чая, обратил внимание на свою папиросу. Он стряхнул с нее пепел, потом, внимательно смотря на нее, как будто бы в ней было нечто достопримечательное, стал тушить о черную цинковую пепельницу. Все это, однако, было недостаточно для приличного препровождения времени, и сидевший на стуле нашелся вынужденным сказать:

— Ну, Александр Иванович, я очень рад, что ты все-таки устроился.

По пухлому, нежному, с розовыми щеками и белобрысой редкой растительностью лицу Александра Ивановича прошло облачко.

— Все-таки ты занят чем-нибудь, — продолжал приятель.

— Я не устраивался и ничем ровно не занят. Кроме того, чем был занят всегда.

Голос у Александра Ивановича был слабый и мягкий; выражение лица робкое, и он проговорил свою реплику таким тоном, как будто бы в чем-нибудь оправдывался.

— Все-таки служба... — сказал приятель, неизвестно почему вздохнув.

— Я провожу на этой службе пять часов и не считаю себя занятым. Это полумеханическая работа. Я очень рад ей. Она нисколько не отвлекает меня...

Он вдруг остановился, не прибрав слова как назвать это, от чего не отвлекает его служба маленького чиновника. Александр Иванович молчал, но приятель был не очень догадлив и спросил:

— От чего, Александр Иванович?

— От того... от того, что всегда составляло мою жизнь. От размышления. Ты знаешь...

Собеседник смотрел на него и сказал недоумевающим тоном:

— От размышления. Странно. Ты размышляешь? Над чем?

Александр Иванович смотрел в сторону и не отвечал. Его приятель показался ему вдруг ужасно чужим и маленьким человеком, точно он был от него на огромном расстоянии. Отвечать ли ему? Поймет ли он то, что волнует А. Ив.; он со своими маленькими великими делами, со своей наукой (*той наукой!* — подумал А. И.), которой он верно служит в классах двух средних учебных заведений и в стенах физического кабинета Н. университета, где он, как древний алхимик добывал золото, теперь добывает магистерскую степень. Вагнер..., — подумал А. И. с некоторым недоброжелательством.

— Ты размышляешь? — продолжал «Вагнер». — Ты, кажется, никогда особенно не интересовался наукой; в том смысле не интересовался, как понимаю это я. Ты не работал, Саша. Помнишь, в университете. Ты всегда относился слегка...

Александр Иванович, задвинутый ломберным столом, с большим трудом вылез из-за него и стал у окна — не глядя ни на что в особенности,

смотрел в окно. Приятель продолжал говорить, обращаясь к его низенькой, очень широкой и даже тучной спине на коротких неправильных ногах.

— Помнишь наш разговор после выпуска, после обеда. Я делаю то, что сказал тебе тогда. Я тружусь, правда, над очень маленьким уголком, но тружусь...

#### ПРИМЕЧАНИЯ \*

<sup>1</sup> До настоящего времени не опубликовано еще 25 набросков художественных произведений и статей Гаршина (см.: *Клочкова*, с. 50—57).

<sup>2</sup> *Гаршин III*, с. 234.— Курсив наш.— Ю. О.

<sup>3</sup> Там же, с. 181.

<sup>4</sup> Набросков этой повести нам обнаружить не удалось ни в архиве самого Гаршина, ни в бумагах его родных и друзей.— Ю. О. См. о ней: *Гаршин III*, с. 493 и по указателю. Л. П. Клочкова предполагает, что набросок «Завтра экзамен...» относится к задуманной Гаршиным повести о Радонежской (*Клочкова*, с. 45). М. Костова-Гургулова возражает ей, находя в этом наброске автобиографические мотивы («Три неоконченных произведения В. М. Гаршина».— «Русская литература», 1962, № 2, с. 179—180). Перу Р. В. Радонежской принадлежит замечательное произведение об орловской деревне.— «Картины народной жизни. Записки сельской учительницы» («Орловский вестник», 1877—1878 гг.). Радонежской посвящена статья Л. Н. Афонина: «Героиня повести, задуманной Гаршиным» («Орловская правда», 1965, № 216, 12 сентября).

<sup>5</sup> *Гаршин III*, с. 308.

<sup>6</sup> В 1965 г. три рассказа из подготовленных к печати Ю. Г. Оксманом — «Скипидар», «Сон Павла Павловича» и «Объявите суду ваше имя...» — были опубликованы в Софии М. Костовой-Гургуловой («Годишник на Софийския университет, филологически факултет», т. LIX, 1, с. 271—280). В тексте публикации есть неточности.

<sup>7</sup> Н. М и н с к и й. Несколько слов о Гаршине по поводу десятилетия его смерти.— «Новости», 1898, № 96, 9 апреля.— К воспоминаниям Минского явно восходят и все данные о несохранившейся сказке Гаршина о фиалке, записанные С. Н. Дурюлиным со слов художника М. Е. Малышева:

«Однажды ранней весной императрица Екатерина II совершала обычную свою прогулку по Летнему саду, одна, с любимой собачкой. В траве императрица увидела еще нераспустившуюся первую слабенькую фиалку. Она не хотела ее рвать, пока цветок не расцветет совсем, и боялась забыть место, на котором росла фиалка.

Придя во дворец, императрица приказала поставить на некоторое время часового около того места, где рос цветок, но никому не сказала, зачем это нужно было сделать. Императрица забыла про фиалку, цветок расцвел, процвел, отцвел, а караульное начальство, исполняя приказ императрицы, сменило первого часового вторым, второго — третьим, и так установился постоянный караул на месте, где когда-то росла фиалка. Екатерина II умерла, умер ее сын, два внука императрицы, никто не помнил, почему поставлен караул, а часовые все сменялись и сменялись, и шагали с ружьем летом и зимой, сами не зная, что охраняют. В сказке Гаршина была картина поздней зимней ночи, свистящей вьюги, сугробов снега, завалившего Летний сад. Полузамерзший часовой с ружьем ходит на карауле, мерзнет, борется со своим и подбадривает себя тем, что он исполняет долг. Прошло сто лет. Фиалка, пустив свой корешок под землей, продвигая росток за ростком, вышла из Летнего сада на набережную, протолкала свои росточки под Невой и вынырнула из земли где-то далеко за городом, в открытом поле, и зацвела там. А часовой все ходит, все сторожит, и никто не знает, что он сторожит» («Погибшие произведения Гаршина».— «Русские ведомости», 1913, № 70, 24 марта. Ср. в его письме в редакцию — «О погибших произведениях Гаршина».— «Голос минувшего», 1914, № 3, с. 289).— Ю. О.

Любопытно сравнить с этим свидетельством строки в воспоминаниях Бисмарка, посвященные его пребыванию в Петербурге в 1859 г.:

«В первые весенние дни принадлежавшее ко двору общество гуляло по Летнему саду, между Павловским дворцом и Невой. Императору бросилось в глаза, что посреди одной из лужаек стоит часовой. На вопрос, почему он тут стоит, солдат мог ответить лишь, что «так приказано»; император поручил своему адъютанту осведомиться на гауптвахте, но и там не могли дать другого ответа, кроме того, что в этот караул зимой и летом отряжают часового, а по чьему первоначальному приказу, установить нельзя. Тема эта стала при дворе злободневной, и разговоры о ней дошли до слуг. Среди них оказался старик-лакей, состоявший уже на пенсии, который сообщил, что его отец,

\* Настоящая публикация была подготовлена покойным исследователем в самом начале 1930-х годов, еще до выхода в свет в 1934 г. тома писем Гаршина под его редакцией. Ю. Г. Оксман работал тогда над неизданными письмами Гаршина. Нами сделаны в примечаниях ссылки на издание 1934 г. и на новейшую литературу.— *Примеч. К. П. Бозаевской.*



проходя с ним как-то по Летнему саду мимо караульного, сказал: «А часовой все стоит и караулит цветок. Императрица Екатерина увидела как-то на этом месте гораздо раньше, чем обычно, первый подснежник и приказала следить, чтобы его не сорвали». Исполняя приказ, тут поставили часового, и с тех пор он стоит из года в год» (Б и с — а р к. Мысли и воспоминания, т. 1. М., 1940, с. 194).

<sup>8</sup> *Гаршин III*, с. 271.

<sup>9</sup> Гаршин излагает ошибочную версию о происхождении скульптур Летнего сада, бытовавшую в книгах о старом Петербурге, выходявших в последние десятилетия XIX — начале XX в. В действительности эти скульптуры приобретались в Италии при Петре I, Анне Ивановне, Елизавете и тогда же были установлены в Летнем саду (см.: Ж. М а ц у л е в и ч. Летний сад и его скульптуры. Л., 1936, с. 58—59). Гаршиным названы статуи: «Сивилла Ливийская» (ошибочно названа «Венерой») — работы Джованни Зорзони; Навигация — предположительно работы Пьетро Баратты (начало XVIII в.); «Сатурн» — работы Франческо Пенсо, прозванного Кабианка. Скульптуры «Анахарсиса» в Летнем саду никогда не было; это имя восходит, вероятно, к герою романа Жан-Жака Баттиели «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1788; русский перевод, ч. 1—9, 1803—1819).

<sup>10</sup> *Гаршин III*, с. 312.

<sup>11</sup> Там же, с. 360.— О деле Д. Т. и М. П. Немчиновых — см. «Новое время», 1885, №№ 3516 и 3518, 10 и 12 декабря, а также *Гаршин III*, с. 578.

<sup>12</sup> Там же, с. 392.— Ироническое упоминание имени А. М. Скабичевского обусловлено серией фельетонов последнего под названием «Наши новые беллетристические силы» в «Новостях», 1885, №№ 31, 51, 72, 84.— В этих фельетонах критик уличал молодых писателей в «полном отсутствии у них всякого солидного и основательного образования». Юмористически сближенные с именем Скабичевского «бирюлевские барышны» — персонажи из «Затишья» Тургенева.— Ю. О.

<sup>13</sup> Воспоминания В. А. Фаусека.— В кн.: Полн. собр. соч. В. М. Гаршина. СПб., 1910, с. 58—59.

<sup>14</sup> *Гаршин III*, с. 305.

<sup>15</sup> Письмо к матери от 14 июля 1883 г.— Там же, с. 299.

<sup>16</sup> Письмо к В. А. Фаусеку от 9 июля 1883 г.— Там же, с. 297.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

### НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РАССКАЗ ГАРШИНА «ТЕНЬ»

Предисловие и публикация М. Д. Гургуловой  
(НРБ)

В 1938 г. в газете «София», № 579, 4 июля, был напечатан рассказ Гаршина «Сянка» («Тень»). Эта публикация была обнаружена нами в 1963 г., при просмотре болгарской периодики с целью выявления материалов об отношении Гаршина к Болгарии и о восприятии его творчества в этой стране. В газете не было дано никаких комментариев и не были указаны имена публикаторов и переводчика. Архив газеты не сохранился, ее редактор Васила Павурджиева давно уже не было в живых.

Наши поиски автографа или каких-либо данных о том, как рассказ Гаршина попал в Болгарию, оказались безрезультатными. Мы можем только высказать предположение, что автограф (или копия с него) был вывезен из России кем-нибудь из русских эмигрантов. Известно, что в Софии с 1920 г. поселилось довольно много русских, среди которых были и писатели, критики, ученые. Некоторые из них, покидая родину, захватывали (полностью или частично) свои архивы. В составе одного из них вполне могла оказаться и рукопись Гаршина.

Рассказ «Тень» не вошел ни в одно издание сочинений писателя, упоминания о нем отсутствуют в известной нам литературе о Гаршине на русском и болгарском языках. Никаких следов его нет и в советских архивах, хранящих гаршинские фонды<sup>1</sup>. И тем не менее у нас нет оснований для предположения, что публикация 1938 г. явилась литературной мистификацией.

Текст «Сянки» изобилует русизмами и не свойственными болгарскому литературному языку оборотами. Это может служить подтверждением того, что перед нами действительно перевод с русского, а не оригинальный текст. Дополнительным свидетельством интереса болгарской газеты к творчеству Гаршина является факт помещения в предыдущем номере (№ 578) «Софии» перевода гаршинской сказки «То, чего не было» («Онова, което не било»).

Всесоюзная Газета

## С Ъ Н К А

Все, кому чужды твои редкие,  
еще еще между живых; но ль-  
вового льва, отдаленный смех се  
преследует в облаката на ска-  
лах. Зашото страна работа  
ше се случает, и много тамна  
дълъ ше се разгатват, и много  
оказва ше минават, предя да по-  
ладатъ тва звоник предя хор-  
салтъ очк. И когато ги видатъ,  
една не ше ги повърватъ, други  
ше се усмихнатъ и само машина  
ше се замислятъ надъ буквалъ,  
като изработва съ стоманени  
си стаятъ.

Година, за която липа, бл-  
ше година на уада, и чувства  
по-силно отъ уада, за която  
къда лие на жоната. Зашото се  
къда много чудеса и явления,  
и вълшебна, надъ земета и по-

рето, чуната широко разпер-  
своитъ черни крила. А за следу-  
шнотъ въ една на звездитъ не-  
бето ясно говореше за бедствие,  
и въ чешото на другитъ из-  
гъркатъ Обнос, видяха, че не  
се възвращае алма, оная се-  
дестогон дветдесте и четвър-  
та година, когато планетата  
Юпитер, предя входа въ съ-  
здането на Овна, се съединя  
съ червения пръстенъ на  
страшния Сатурн. Особено  
състояние на небето, ако се ве-  
лъка, се отрази не само въруху  
физическия мир, но и въ душа-  
та, въображението и мислитъ на  
човешкото.

Една нощъ събяхме две седни-  
ва въ сланин чъртогъ на мрън-  
на гора. Птоломеда, около

чашитъ съ червено хиско ви-  
но. И въ нощта стая нбяхме  
другъ вход, освенъ високата  
бронзова врата; а тва врата об-  
изработва художникитъ Ко-  
ринъ съ рѣдко искусство и обще  
ти замалчено отживе. Също и  
чернитъ занесъ въ тва печина  
стая сърпнаха отъ въздуха,  
блздитъ звезди и безлуннитъ  
улицы; но тѣ не можеше да от-  
лечатъ отъ насъ възпоянито  
и предчувствието на разла-  
тата. Насъ ни обриваваха въл-  
ник, за които азъ не мога да  
дамъ ясно сѣтка—вълника на-  
термални и духовни, — темна  
атмосфера, задушаво, тига,  
а главно, онова страшно състо-  
ние, което изпитватъ измични-  
тъ людс, когато чувствата нѣ  
си вностри и дестека, а ду-  
шевнитъ способности дрѣматъ.  
Скитва тежестъ легла въруху  
нистъ. Те тежестъ въруху мѣ-  
чатъ човека, — надъ небитро-

ката въ стаята, надъ чашитъ,  
отъ които пиеме; задушаво  
и привадаше къмъ земета всич-  
ко, освенъ огньоветъ и седнитъ  
жестки сѣтълони, които осѣ-  
тлява пиришето ни. Изнавй  
ни се като дълги тѣни саяна  
отъ сѣтълани, тѣ горѣше съ бл-  
дежъ и неподвиженъ пламъкъ, и  
въ тѣвния отблѣсъкъ въруху  
кръглата обнова маса, около  
кото седяхме, изсѣла отъ насъ  
различаваше бедността на по-  
то лице и безпокойния бабъсъ,  
въ седнитъ очк на сътрапе-  
ничитъ. И все пашъ ние се сѣбѣ-  
ме и се веселеше — въ истори-  
ческо веселие; и нбяхме нбснотъ  
на Анакреона — бѣлгични вѣсни;  
и се обиваше съ вино — пашаръ  
къ неговитъ багрови цѣтъ на  
запоянито за кръвта. Зашото  
въ стаята пинаше още силна  
гоствъ въ линето въ млади Зо-  
къ. Миртъвъ, прострятъ къбъ  
и загнати въ саянъ, той блѣ-

## «ТЕНЬ»

Первая публикация рассказа В. М. Гаршина (в переводе на болгарский язык)

Газета «София», 4 июля 1938 г.

Не располагая прямыми доказательствами авторства Гаршина, мы можем все-таки привести некоторые косвенные аргументы, которые поддерживают версию о том, что «Тень» была написана им. В воспоминаниях некоего А. П. «Гаршин в ночь его смерти» приведены слова, сказанные писателем накануне самоубийства: «Вот, например, мне кажется следующее: за пределами нашей видимой жизни есть мир. Экспериментальная наука не сегодня-завтра поставит эти явления на позитивную почву. Призраки, духи, привидения — все это существует реально...»<sup>2</sup> Эти мысли могут быть поставлены в связь с некоторыми сюжетными мотивами рассказа «Тень». И, что еще важнее, общее настроение его близко жизненной концепции Гаршина и тому чувству душевной неустойчивости и подавленности, которые вызывали в нем общественная несправедливость и психическая болезнь<sup>3</sup>.

В рассказе отчетливо намечены мотивы страдания людей, на которых обрушилось неотвратимое бедствие, и вместе с тем жажды жизни, веселья, которая заставляет выведенных здесь семерых «сотрапезников» собраться на пиршество, наслаждаться вином, петь «безумные песни» Анакреона. Очевидна внутренняя связь этих мотивов с «Пиром во время чумы» Пушкина — произведением, которое живо интересовало Гаршина. Как свидетельствует Я. В. Абрамов, весной 1879 г. Гаршин вспоминал о пушкинском «Пире»<sup>4</sup>. Не исключено, что уже тогда у него могла возникнуть мысль о самостоятельной творческой разработке пушкинской темы. Мы не знаем, как развернулось бы далее повествование, но, судя по началу рассказа с его настроением мрачной безысходности и обреченности, Гаршину было чуждо пушкинское преклонение перед силой, бесстрашием человека. Не хотел ли он развить мотив скорби о погибших друзьях — на эту мысль наводит последняя фраза публикуемого текста.

Рассказ «Тень» в обратном переводе на русский язык был напечатан нами в 1965 г. в «Ежегоднике Софийского университета»<sup>5</sup>. При проверке перевода для настоящей публикации устранены отдельные ошибки в нем, а весь текст выправлен с целью придания ему большей художественной цельности и стиливого единства\*.

\* Публикация «Тени» в 1965 г. в малодоступном болгарском издании прошла не замеченной большинством советских исследователей. Редакция «Литературного наследства» решила включить в настоящий том этот незаконченный рассказ, с тем чтобы привлечь к нему внимание изучающих творчество Гаршина и побудить их к поискам новых источников и новых аргументов, которые позволили бы безусловно подтвердить авторство Гаршина или же поставить его под сомнение. — *Ред.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Нами были обследованы гаршинские материалы, находящиеся в ЦГАЛИ и в рукописных отделах ИРЛИ, ГБЛ, ГЛМ.

<sup>2</sup> «Раннее утро», М., 1909, № 173, 29 июля.

<sup>3</sup> По своей основной настроенности «Тень» может быть сопоставлена со стихотворением «Свеча» — последним произведением Гаршина, созданным в мае 1887 г.

<sup>4</sup> Я. Абрамов. Всеволод Михайлович Гаршин (материалы для биографии). — Сб. «Памяти Вс. М. Гаршина». СПб., 1889, с. 31—32.

<sup>5</sup> Мария Костова-Гургulóва. О некоторых неизвестных отрывках и произведениях В. М. Гаршина. «Годишник на Софийския университет», филологически факултет, т. LIX, 1, София, 1965, с. 280—282. Здесь же, на с. 263—267, изложены результаты нашего изучения рассказа «Тень». См. также кн.: М. Гургulóва. Творчество на В. М. Гаршин. София, «Наука и изкуство», 1967, с. 151—156.

## ТЕНЬ\*

Вы, которые читаете эти строки, находитесь еще среди живых, а я, кто пишет их, давно уже переселился в область теней. Потому что странные вещи произойдут, и много тайных дел будет разгадано, и много веков пройдет, прежде чем эти записки попадутся людям на глаза. И когда люди увидят их, одни мне поверят, другие усмехнутся и лишь немногие задумаются над буквами, которые я вырезаю своим стальным стилетом.

Год, о котором я пишу, был годом ужаса и чувств сильнее ужаса, для которых нет названия на земле. Потому что явилось много чудес и знамений, и всюду, над землей и морем, чума широко распростерла свои черные крылья. А для сведущих в языке звезд небо ясно говорило о бедствиях; и в числе других я, грек Ойнос, видел, что мы возвращаемся к тому семьсот девяносто четвертому году, когда планета Юпитер перед входом в созвездие Овна соединяется с красным кольцом страшного Сатурна. Особенное состояние неба, если не ошибаюсь, отразилось не только на физическом мире, но и в душе, воображении и мыслях человечества.

Однажды ночью мы сидели всемером в славном чертоге мрачного города Птоломеиды у чаш с красным хиосским вином. И в нашей палате не было другого входа, кроме высоких бронзовых врат, а эти врата, сработанные художником Коринном с редким искусством, были заперты изнутри. И черные завесы в этой печальной палате также скрывали от нас луну, бледные звезды и безлюдные улицы; но они не могли отдалить от нас воспоминания и предчувствия расплаты. Нас окружали явления, о которых я не могу дать себе ясного отчета, — явления материальные и духовные, — тяжелая атмосфера, духота, тоска, а, главное, то страшное состояние, которое испытывают измученные люди, когда чувства у них обострены и деятельны, а душевные способности дремлют. Смертная тяжесть легла на нас. Она тяготела над всеми вещами — над убранством палаты, над чашами, из которых мы пили; душила и клонила к земле все, кроме огней семи железных светильников, которые освещали наше пиршество. Извиваясь длинными, узкими языками, они горели бледным и неподвижным пламенем, и в их отблеске на круглом эбеновом столе, вокруг которого мы сидели, каждый из нас различал бледность своего лица и беспокойный блеск опущенных глаз сотрапезников. И все-таки мы смеялись и веселились — в истерическом веселье; и пели песни Анакреона — безумные песни; и упивались вином — несмотря на то что его багряный цвет напоминал нам кровь. Потому что в палате был еще один гость — в образе молодого Зоила. Мертвый, весь вытянувшийся и завернутый в саван, он был гением и демоном всей этой сцены. Увы! он не принимал участия в нашем пиршестве, и только лицо его, искаженное от мук, и глаза его, в которых смерть еще не погасила пламени чумы, как будто взирали на нас, участвовали в нашем ве-

\* Перевод с болгарского М. Д. Гургulóвой. — *Ред.*

селье, насколько мертвые могут принимать участие в веселье тех, кто должен умереть. Но несмотря на то что я, Ойнос, чувствовал, что глаза покойника устремлены на меня, я старался не понимать их горестного выражения и, упорно глядя в глубину эбенового зеркала, громким и звучным голосом пел песни теосского певца. Но мало-помалу наши песни замерли, и их отзвуки, рассеянные между черными завесами, затихли и умолкли. И вот из-под этих черных завес, где только что исчезли последние звуки песни, появилась мрачная, смутная тень, похожая на ту, которую отбрасывает от человека луна, когда она находится низко над горизонтом; но это была тень не человека, не бога и не какого-либо другого известного существа. И, покачнувшись на один миг между завесами, она стала, наконец, во весь свой рост, полностью закрывая собой бронзовые врата. Но тень была смутная, бесформенная, неопределенная, и не была она тенью человека или бога — ни греческого, ни халдейского, ни египетского бога. И тень остановилась над громадными бронзовыми вратами, под аркой карниза, и не двигалась, и не произносила ни слова, но уплотнялась <?> все больше и больше и, наконец, застыла неподвижно. И врата, над которыми остановилась тень, если мне не изменяет память, возвышались против ног молодого Зоила, над его телом, завернутым в саван. Но мы, семеро сотрапезников, увидев, как тень выходила из-под завес, не смели посмотреть на нее и, опустив глаза, упорно вглядывались в глубину эбенового зеркала. И, наконец, я, Ойнос, прошептал несколько слов, чтобы спросить у тени, где она обитает и как ее зовут. И тень ответила: «Я — тень, и мое жилище находится близ катакомб города Птоломеиды, рядом с мрачными адскими равнинами, ограждающими нечистый канал Харона». И тогда мы семеро содрогнулись от ужаса на своих местах и вскочили, дрожа, пошатываясь и цепenea от страха; потому что звук голоса тени был звуком голоса не одного существа, а множества существ, и, меняясь в слого <?>, он напоминал знакомые и родные голоса тысяч и тысяч погибших друзей.